



## **Е. В. ДУШЕЧКИНА**

### **Рождественская ёлка у Салтыкова-Щедрина**

<Фрагменты>

<...> По первоначальному замыслу «Губернские очерки» должны были включать в себя значительную группу текстов, составляющих особый раздел под названием «Народные праздники». Салтыков-Щедрин предполагал создать серию картин «не столько церковного, сколько народного календаря, основанных на поверьях и обычаях»\*, — масленицы, вешнего Егория, Ильина дня, местных праздников и др. Намеченный план остался неразработанным. Писатель ограничился лишь двумя праздничными зарисовками (Рождества и Пасхи), объединив их в небольшой раздел «Праздники». Оба эти текста к народному календарю имеют косвенное отношение, но как оригинальная разработка праздничных сюжетов и мотивов они представляют несомненный интерес.

Первый очерк этого отдела («Ёлка») и станет предметом внимания настоящей заметки. Он представляет собою зарисовку рождественского сочельника, будто бы пережитого рассказчиком в Крутогорске. Форма повествования в настоящем времени и от первого лица способствует созданию иллюзии сиюминутности происходящего, благодаря чему читатель «втягивается» в художественное пространство, становясь свидетелем изображаемых событий. Отсюда же впечатление достоверности, позволявшее иногда говорить о документальной основе зарисовки. Это впечатление, видимо, не совсем обманывает читателя.

По крайней мере, что касается изображения праздника рождественской елки, то очерк этот вполне может служить иллюстрацией к истории елки в России. Именно в середине 1850-х годов

---

\* Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1965. Т. 2. С. 534 (Примеч.). Цитаты из очерка «Ёлка» приводятся нами по этому изданию.

«рождественское дерево», «освоив» Петербург, становится популярным в чиновничьих и купеческих домах губернских городов, откуда уже в следующее десятилетие мода на него распространяется по уездным городам и помещичьим усадьбам. Эту растущую популярность елки и отмечает рассказчик: «Просвещение проникает все более на восток <...>, — с иронией пишет он, — чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременно обязанностью купить на базаре елку и <...> презентовать многочисленным Ваничкам, Машенькам...»\*.

Чем состоятельнее дом, тем роскошнее в нем елка. О «хоромах одного крутогорского негоцианта» рассказчик сообщает: «И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашена...». Оставаясь в рамках документального повествования, Салтыков-Щедрин, однако, опирается и на определенную литературную традицию.

Ко второй половине 1850-х годов, т. е. ко времени написания «Губернских очерков», в литературах ряда европейских народов, усвоивших обычай рождественской елки, появилось множество произведений, в сюжетном повествовании которых елка, представленная в качестве главного атрибута рождественского праздника, играла важную роль. Символизируя собою «неувядающую благостыню Божию», елка либо репродуцировала рождественскую утопию, либо обнажала трагический разрыв, существующий между этой утопией и реальностью. По мере роста популярности елки в России, «елочные» тексты путем переводов и подражаний начинают осваиваться и русской литературой. Очерк Салтыкова-Щедрина, носящий, на первый взгляд, вполне мемуарный характер, со всем основанием может быть отнесен к этой литературной традиции.

Здесь детский праздник изображен со стороны: рассказчик, не являясь его участником, рассматривает елку извне — через оконное стекло. Чувство горечи, одиночества и неприкаянности, которое он испытывает в связи со своей непричастностью празднику, выливаются в традиционной ламентации: «Я один как перст в этом мире; нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола, ни двора...» и т. д. Тем самым, повествователь оказывается аналогичным одному из ха-

---

\* Что касается праздников, то в этом отношении провинция, действительно, старалась не отставать от столиц: «Чванясь друг перед другом, “первые лица” губернии, — пишет вятский краевед, — закатывали пиры почти на столичный манер» (Петряев Е. Д. М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. Киров, 1980. С. 81).

рактрных для «елочных» произведений персонажей — одинокому и обездоленному, лишенному семьи, родных и елки, особенно остро ощущающему свое сиротство при виде чужого праздника.

Однако позиция внешнего наблюдателя предоставляет рассказчику и определенные преимущества. Благодаря этой позиции ему удается увидеть то, что скрывается от участников праздника, вовлеченных в действие, и, с этой точки зрения, рассказчик представлен в тексте как традиционный автор «физиологий»: он тщательно рассматривает елку, он внимательно следит за поведением детей и взрослых, хозяина и хозяйки. И замечает то, чего не замечают другие. Отсюда ироничные строки о «негоциантах», «не теряющих золотых мгновений» и беспрерывно подступающих к круглому столу, который «ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и tenerифом», и о равнодушии к елке детей, заинтересованных прежде всего в приготовленных для них подарках: «...дети чинно расхаживают по зале <...> выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление». Тон повествования и сентиментален, и ироничен одновременно. Сентиментальность вызвана самой героиней торжества елкой («В пространной зале горит это милое деревце, которое так сладко заставляяет биться маленькие сердца»), а ирония — несоответствием смысла праздника в ее честь тому, что совершается в крутогорском доме. На празднике действуют те же самые законы, что и в будничной жизни; ведь «Елка» — еще одна иллюстрация крутогорских нравов, изображенных в «Губернских очерках», представляющих собою «монографическое исследование разных явлений современной жизни»\*. Дети, для которых якобы и устроен праздник, оказываются под стать взрослым: хозяйский сын бьет «Оську рядского», в то время как Оськина мать, желая угодить хозяевам, старается «прекратить всхлипывания» своего сына «новыми толчками». Рождество, праздник, во время которого должны царить «мир и в человецех благоволение», Крутогорску неизвестно. Салтыков-Щедрин вполне мог бы ограничиться фиксацией этих наблюдений: он выполнил свою задачу, изобразив крутогорский праздник. Но очерк продолжается.

Очерк продолжается описанием новых, также вполне мотивированных крутогорской реальностью событий, и мало кто замечает, что писатель приступает к разработке известного литературного сюжета — сюжета о ребенке, рассматривающем через оконное стекло елку в богатом доме. Произведения о «чужой елке» на страницах

---

\* Макашин С. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860 годов: Биография. М., 1972. С. 122.

рождественских номеров массовых и детских периодических изданий с середины XIX века становятся обычным явлением. Этот нехитрый сентиментальный сюжет разыгрывался в нескольких вариантах.

Первый вариант представлял смотрящего через окно на елку в богатом доме ребенка-сироту, который, замерзая, в предсмертном сне видит свою умершую мать, бабушку или Христа. Самая известная русскому читателю разработка этого варианта — «Мальчик у Христа на елке» Достоевского (1876), который, неоднократно перепечатываясь в сборниках, адресованных детям, заслужил репутацию образцового рождественского рассказа <...>. Несмотря на трагический конец (смерть ребенка), этому варианту свойственна светлая тональность: страдания ребенка на земле сменяются блаженством вечной жизни на небе и воссоединением его с родными. <...>

Второй вариант отличается от первого лишь отсутствием мотива предсмертного сна-видения: ребенок замерзает, и утром люди находят его трупик. Такая концовка придавала тексту безнадежно трагическую окраску <...>.

В третьем варианте этого сюжета ребенок не умирает: он с восторгом рассматривает елку в окне, мечтает о такой же елке для себя и бредет дальше своей дорогой. <...>

И наконец, еще один, четвертый, вариант сюжета о ребенке, рассматривающем в окне чужую елку. В этом случае замерзающего у окна ребенка подбирает прохожий, приводит его к себе домой, кормит, поит, укладывает спать и иногда — оставляет его у себя навсегда. Концовка текстов, разрабатывающих этот вариант, совпадает с известным «Сироткой» («Вечер был; сверкали звезды...») <...>.

К концу XIX века избитость сюжета о замерзающем ребенке (иногда с елкой в окне богатого дома, а иногда и без елки) достигла такой степени, что без отсылки к нему не обходилась ни одна пародия на рождественские тексты. <...>

Возникший в «елочной» литературе начала XIX века сюжет о елке в богатом доме и замерзающем ребенке, став в полном смысле этого слова интернациональным, с успехом прошел по всем странам, усвоившим обычай рождественской елки, и быстро превратился в затасканное клише. Как правило, это были однообразные и мало оригинальные тексты, которые из года в год появлялись в праздничных номерах массовой периодики. Но русскому читателю этот сюжет «подарил» два шедевра — «Елку» Салтыкова-Щедрина и «Мальчика у Христа на елке» Достоевского.

Мы не владем сведениями о том, какие именно произведения русской или, скорее всего, европейской литературы, использующие сюжет «чужой елки», были известны Салтыкову-Щедрину. Однако

прочтение щедринского текста на фоне этого сюжета демонстрирует не только факт знакомства с ним писателя, но и полемически заостренное манипулирование его ходами и мотивами.

Рассматривая елку в окне богатого дома, рассказчик вдруг замечает рядом с собой замерзшего («подскакивающего с ноги на ногу») мальчугана, внимание которого также приковано к елке. Мальчик подплясывает «на одном месте, изо всех своих детских сил похлопывая ручонками, заочневшими на морозе». На первый взгляд, мальчик этот напоминает знаменитого «малютку»: он замерз, он один поздним вечером на улицах пустого города, он с завистью смотрит на «чужую елку» и мечтает о такой же елке для себя («— Вот кабы этакая-то елка... — задумчиво произнес мой собеседник.»), и этим его мечтам, подобно мечтам других «малюток», также не суждено сбыться («— А дома у вас разве нет елки? — Какая елка! у нас и хлеба почти нет...»).

При виде мальчика рассказчик, «имея душу чувствительную», настраивает и себя самого, и своего читателя на сентиментальный лад. Но тут же оказывается, что крутогорский мальчуган — это отнюдь не традиционный «малютка»: он вовсе не «голодный и холодный» сирота, а вполне «домашний» ребенок — у него есть отец, мать, сестры, он одет в дубленый полушубок, а на далекой темной улице оказался по своей собственной вине, за что его «тятка беспрерменно заругает». Реплики мальчика свидетельствуют о том, что его интересует не только елка, а может быть, даже не столько елка, сколько происходящие внутри помещения события отнюдь не праздничного характера. С живым любопытством наблюдая за тем, как хозяйский сын «задирает» Оську рядского, он ни в малейшей степени не сочувствует Оське: «...Ишь разревелся смерд этакой! Я бы те не так еще угостил!» Вместо ожидаемой солидарности с обиженным бедным мальчиком, он презирает его: «Эка нюня несообразная! — прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается». Более того, он сам испытывает желание «задрать» бедного Оську: «Я бы еще не так тебе рожу-то насолил! — произнес мой товарищ с звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению». Так под пером Салтыкова-Щедрина традиционный «малютка» превращается в энергичного, знающего себе цену и умеющего постоять за себя мальчика, вполне уверенного в себе и отлично ориентирующегося в окружающей его обстановке. Этот маленький герой — будущее губернского города — менее всего способен вызвать чувство умиления\*.

\* Показательно, что в первом и втором издании «Губернских очерков» этот текст назывался «Замечательный мальчик».

Рассказчик, как кажется, получил предупреждение. Но, все еще погруженный в «праздничную ауру», он, не доверяя своему впечатлению, совершает шаг, который вполне соответствует сентиментальной схеме: подобно старушке из стихотворения «Сиротка», он, проникшись «состраданием к бедному мальчику», приглашает его к себе домой. «Елочный» сюжет, как кажется, разворачивается в соответствии с четвертым вариантом: «малютка» подобран.

Однако вместо ожидаемой идиллии и перед рассказчиком, и перед читателем разворачивается отнюдь не безмятежно идиллическая сцена. В гостях мальчишка ведет себя крайне развязно и насмешливо по отношению к взрослым: он тут же залезает с ногами на диван, «минуя сластей, наливает в рюмку вина и залпом выпивает ее». Разочарованный рассказчик с горечью констатирует: «Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность». То «патриархальное», чем намеревался «угостить» себя рассказчик, — это и есть ожидаемый финал нашего сюжета. Если бы мальчик, благодарный за приют и угощение, «улыбнулся, закрыл глазки» и т. д., рассказчик получил бы то, на что он себя настроил. Но вышло по-другому, и, испытывая чувство стыда и досады, он отправляет домой «почти пьяного» мальчишку. Традиционный сюжет и традиционный образ оказались не соответствующим реальности\*.

Таким образом, у Салтыкова-Щедрина схема сентиментального рождественского сюжета подвергается существенной ломке. Автор как бы играет «в обманки» со своим читателем. Он создает знакомую ситуацию и тем самым подсказывает ее развитие. Но следующий за нею сюжетный ход не соответствует привычной схеме, и в результате читательское ожидание оказывается обманутым. Эта «игра в обманки» ведется не только с читателем, но и с героем-рассказчиком: жизнь предлагает ему не предсказуемый литературный вариант, на который он было настроился, но «суровую реальность».

Салтыков-Щедрин высмеивает и развенчивает как банальный сюжет «чужой елки», так и своего героя-рассказчика, увидевшего в ребенке «достаточную жертву для своих благотворительных за-

---

\* Щедринская разработка сюжета о «чужой елке» предвосхищает вопрос, поставленный Достоевским относительно героя «Мальчика у Христа на елке»: «На другой день, если бы этот ребенок выздоровел, то во что бы он обратился?» И сам отвечая на него, писатель с горечью констатирует, что со временем «эти дети становятся совершенными преступниками» (*Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 14).

тей». Истинное милосердие обернулось здесь пустыми «благотворительными затеями», а сам ребенок превратился в «жертву благотворительности». Отсюда и то чувство стыда, которое испытывает рассказчик после пережитого им инцидента: «Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник». Отсюда и заключающие очерк слова его молитвы, представляющие, как убедительно показал М. В. Строганов, реминисценции из стихотворения Пушкина «Отцы пустынноики и жены непорочны...» и молитвы Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего»\*. Так, рождественская елка, призванная на Рождество для того, чтобы люди не забывали закон любви и добра, милосердия и сострадания, через очерковое нравописание ее празднования в Крутогорске и через своеобразное разыгрывание сюжета о «чужой елке» привела автора к осуждению своего собственного праздномыслия и к необходимости проникновения истинным, а не показным (или, скорее, здесь — самопоказным) милосердием и «деятельною, разумною любовью», которые только и дают право на проникновение «в кровенные глубины <...> души».



---

\* *Строганов М. В.* Три заметки к текстам Салтыкова-Щедрина // Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в историко-литературном контексте. Калинин, 1989. С. 58–66.